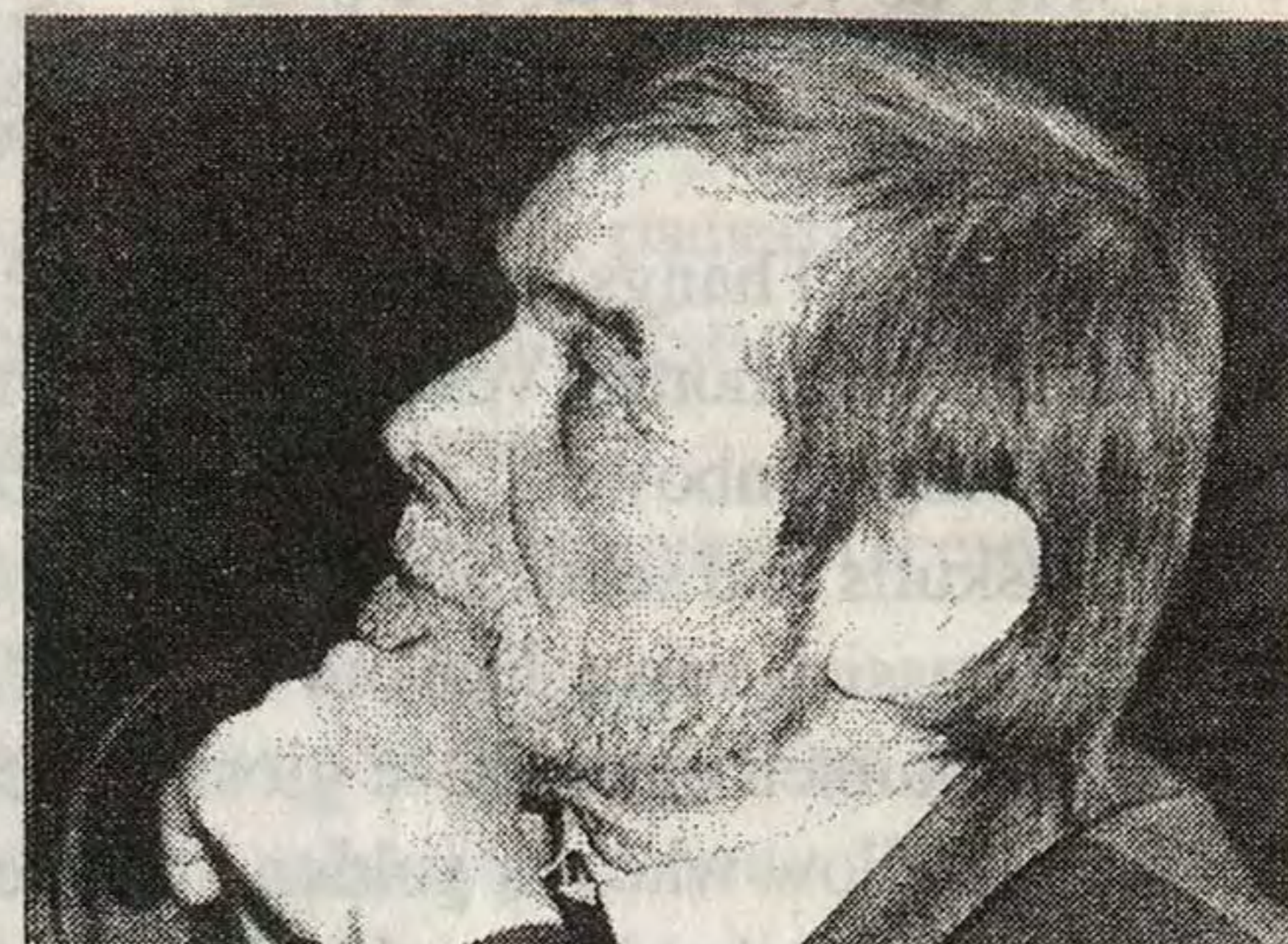


Владислав ЛЕЦИК

«...я слышу ржанье моих пегих существительных»

Два стихотворения, написанные Набоковым по-английски, с параллельным переводом и комментарием переводчика.

От редакции. Владислав Лецик известен читателю прежде всего как талантливый прозаик — автор двух замечательных книг: «Дед Бянкин — частный сыщик» (1977) и «Пара лапчатых унтов» (1984), других ярких произведений, печатавшихся в областных и центральных газетах и литературных сборниках, в журналах «Литературная учёба» и «Дальний Восток», в альманахах «Приамурье моё» и «Амур» (рассказ «Костюмы», № 1). Здесь же он предстаёт в новых, неожиданных ипостасях — как переводчик «стихов русского поэта на русский язык» и критик. О Набокове, признанном «виртуозе слова», пишет тоже подлинный мастер слова, нашедший очень точную интонацию и абсолютно соответствующую замыслу жанровую и языковую форму. Лецик отвергает устойчивое представление о Набокове как о писателе «холодного блеска» и сугубо формальных изысков. Для него поэзия Владимира Набокова (даже англоязычная) — это вдохновлённое русской Музой и ностальгически пронизанное русским духом магическое, колдовское «бормотанье»; другими словами, ворожба, чудо. Чудо обретения в таинственном творческом акте утраченного рая, которым для него навсегда осталась сокрушённая большевистской революцией родина — пушкинская Россия.



Владимир НАБОКОВ

AN EVENING OF RUSSIAN POETRY

“... seems to be the best train. Miss Ethel Winter of the Department of English will meet you at the station and...”

From a letter addressed to the visiting speaker.

The subject chosen for tonight's discussion is everywhere, though often incomplete: when their basaltic banks become too steep, most rivers use a kind of rapid Russian, and so do children talking in their sleep. my little helper at the magic lantern, insert that slide and let the coloured beam project my name or any such-like phantom in Slavic characters upon the screen. The other way, the other way. I thank you.

On mellow hills the Greek, as you remember, fashioned his alphabet from cranes in flight; his arrows crossed the sunset, then the night. Our simple skyline and a taste for timber, the influence of hives and conifers, reshaped the arrows and the borrowed birds. Yes, Sylvia?

ВЕЧЕР РУССКОЙ ПОЭЗИИ

«...лучше всего, пожалуй, этим поездом. Мисс Этель Уинтер с кафедры английского встретит Вас на станции и...»

(Из письма приезжающему лектору)

— Предмет, что мы избрали для беседы, Отчасти как бы растворен повсюду: Зажатая в базальтовых теснинах, На быстром русском говорит река — И так же дети, что во сне бормочут. Моя милая помощница у волшебного фонаря, Поставьте этот слайд, и пусть цветной луч Перенесет на экран мое имя Или другой подобный фантом в славянских знаках. Нет, нет — наоборот... Благодарю.

Вы помните — грек на плодородных холмах Начертал свой алфавит по журавлям в полете. Его стрелы пересекли закат, затем ночь. Наш незатейливый горизонт, пристрастие к дереву, Влияние ульев и хвойных лесов Преобразили заимствованных птиц и стрелы. Да, Сильвия?...

“Why do you speak of words
when all we want is knowledge nicely browned?”

Because all hangs together — shape and sound,
heather and honey, vessel and content.
Not only rainbows — every line is bent,
and skulls and seeds and all good worlds are round,
like Russian verse, like our colossal vowels:
those painted eggs, those glossy pitcher flowers
that swallow whole a golden bumblebee,
those shells that hold a thimble and the sea.
Next question.

“Is your prosody like ours?”

Well, Emmy, our pentameter may seem
to foreign ears as if it could not rouse
the limp iambus from its pyrrhic dream.
But close your eyes and listen to the line.
The melody unwinds; the middle word
is marvelously long and serpentine:
you hear one beat, but you have also heard
the shadow of another, then the third
touches the gong. And then the fourth one sighs.

It makes a very fascinating noise;
it opens slowly, like a grayish rose
in pedagogic films of long ago.

The rhyme is the line's birthday, as you know,
and there are certain customary twins
in Russian as in other tongues. For instance,
love automatically rhymes with blood,
nature with liberty, sadness with distance,
humane with everlasting, prince with mud,
moon with a multitude of words, but sun
and song and wind and life and death with none.

Beyond the seas where I have lost a scepter,
I hear the neighing of my dappled nouns,
soft participles coming down the steps,
treading on leaves, trailing their rustling gowns,
and liquid verbs in *ahla* and in *ili*,
Aonian grottoes, nights in the Altai,
black pools of sound with “I”s for water lilies.
The empty glass I touched is tinkling still,
but now 'tis covered by a hand and dies.

«Trees? Animals? Your favorite precious stone?»

The birch tree, Cynthia, the fir tree, Joan.
Like a small caterpillar on its thread,
my heart keeps dangling from a leaf long dead
but hanging still, and still I see the slender
white birch that stands on tiptoe in the wind,
and firs beginning where the garden ends,
the evening ember glowing through their cinders.

— Зачем вы говорите о словах?
Нам нужно лишь о сути — и наглядно.

— Затем, что все неразрывно — буква и звук,
Вереск и мед, сосуд и содержимое.
Не только радуги — все линии изогнуты,
И черепа, и семена, и все добрые миры округлы,
Как русский стих, как наши колоссальные гласные,
Эти пасхальные яйца, эти подобные
глянцевым кувшинам цветы,
Что глотают целиком золотого шмеля,
Эти раковины, вмещающие наперсток — и море.
Еще вопрос?..

— Ваше стихосложение похоже на наше?

— Знаете, Эмми, на иностранный слух
Может показаться, что наш пентаметр
Не в силах пробудить хромой ямб от безударной дремоты.
Но закройте глаза и вслушайтесь в строку.
Мелодия разворачивается. Среднее слово,
Необычайно длинное, извивается, как змея.
Вы слышите один удар — но тут же слышится
как бы тень второго, затем третий
касается гонга — и четвертый вздыхает.

Возникает чарующий шум:
Он раскрывается медленно, словно серая роза
В учебных фильмах давних лет.

Рифма — это, как вы знаете, день рождения строки,
И в русском, как и в других языках,
Есть привычные близнецы. Например,
Любовь автоматически рифмуется с кровью,
Природа со свободой, печаль с далью,
Век с человеком, князь с грязью,
Луна со множеством слов. Но солнце,
И песня, и ветер, и жизнь, и смерть — ни с чем.

За морями, где я оставил скипетр,
Я слышу ржанье моих пегих существительных,
Мягкие причастия ступают за ними,
Топча листву, волоча шелестящие мантии,
И текущие глаголы на «ала» и «или» —
Аонийские гроты, ночи Алтая,
Черные пруды звуков с кувшинками «ай».
Пустой стакан, задетый мной, звенит негромко,
Но вот, накрыт ладонью, умирает.

— Ваши любимые деревья, животные,
драгоценные камни?

— Береза, Синтия. Ель, Джоан.
Словно маленькая гусеница на своей нити,
Мое сердце все еще свисает с листа, давно мертвого,
Но не опавшего. И я все еще вижу стройную
Белую березу, что стоит на цыпочках на ветру,
И ели, начинающиеся там, где кончается сад, —
Закат дотлевет в их черных углях.

Among the animals that haunt our verse,
that bird of bards, regale of night, comes first:
scores of locutions mimicking its throat
render its every whistling, bubbling, bursting,
flutelike or cuckoolike or ghostlike note.
But lapidary epithets are few;
we do not deal in universal rubies.
The angle and the glitter are subdued;
our riches lie concealed. We never liked
the jeweller's window in the rainy night.

My back is Argus-eyed. I live in danger.
False shadows turn to track me as I pass
and, wearing beards, disguised as secret agents,
creep in to blot the freshly written page
and read the blotter in the looking-glass.
And in the dark, under my bedroom window,
until, with a chill whirr and shiver, day
presses its starter, warily they linger
or silently approach the door and ring
the bell of memory and run away.

Let me allude, before the spell is broken,
to Pushkin, rocking in his coach on long
and lonely roads: he dozed, then he awoke,
undid the collar of his travelling cloak,
and yawned, and listened to the driver's song.
Amorphous sallow bushes called *rakeety*,
enormous clouds above an endless plain,
songline and skyline endlessly repeated,
the smell of grass and leather in the rain.
And then the sob, the syncope (Nekrasov!),
the panting syllables that climb and climb,
obsessively repetitive and rasping,
dearer to some than any other rhyme.
And lovers meeting in a tangled garden,
dreaming of mankind, of untrammelled life,
mingling their longings in the moonlit garden,
where trees and hearts are larger than in life.
This passion for expansion you may follow
throughout our poetry. We want the mole
to be a lynx or turn into a swallow
by some sublime mutation of the soul.
But to unneeded symbols consecrated,
escorted by a vaguely infantile
path for bare feet, our roads were always fated
to lead into the silence of exile.

Had I more time tonight I would unfold
the whole amazing story — *neighukluzhe*,
nevynossimo — but I have to go.

What did I say under my breath? I spoke
to a blind songbird hidden in a hat,
safe from my thumbs and from the eggs I broke
into the gibus brimming with their yolk.

Среди животных, населяющих наши стихи,
На первом месте — птица бардов, пиршество ночи.
Множество звуков воспроизводит его горло,
Передавая любые свисты, трели, раскаты,
То флейтой, то кукушкой, то загробным гласом.
Но отграниченных эпитетов мало:
Мы не торгуем рубинами, принадлежащими всему миру.
Блеск граней приглушен,
Наши сокровища лежат потаенно. Мы не любимся
Витриной ювелира в дождливую ночь.

Как Аргус, я настороже. Я живу в опасности.
Тайные соглядатаи повсюду следуют за мной —
С фальшивыми бородами, как шпики,
Они украдкой промокают свеженарисованную страницу
И читают промокашку через зеркало.
И в темноте, под окном моей спальни,
Покуда день, зябко поживаясь, не нажмет стартер,
Они осторожно слоняются
Или, подкравшись к двери, дергают
Звонок памяти — и убегают.

Позвольте, пока не рухнули чары, вспомнить
Пушкина. Вот он трясется в повозке по длинной
И безлюдной дороге, дремлет, просыпается,
Откидывает воротник дорожного плаща,
Зевая, слушает песню возницы.
Бесформенные ивовые кусты, называемые *ракуты*,
Чудовищные облака над бескрайней равниной,
Напев и горизонт, повторяемые бесконечно,
Запах травы и сбруи под дождем...
Но вот — рыдание, сбой ритма (Некрасов!),
Одышливые слоги упрямо карабкаются,
Навязчиво однообразные, дребезжащие,
Но для иных они милее всех других стихов.
И влюбленные в заросшем саду
Грезят о человечестве, о справедливой жизни,
Смешивая пылкие порывы в лунном саду,
Где деревья и сердца — больше, чем в жизни.
Эту страсть к размаху можно проследить
Во всей нашей поэзии. Нам нужно, чтобы крот
Был рысью — или превратился в ласточку
Неким возвышенным движением души.
Но, посвященные ненужным символам,
Сопровождаемые смутной ребячьей
Тропкой для босых ног, наши дороги всегда обречены
Уводить в безмолвие изгнания.

Будь у меня сегодня больше времени — я б развернул
Целую удивительную историю — н е у к л ю ж е,
Н е в ы н о с и м о, — но мне пора уходить.

Что я сейчас шептал? Я говорил
Со слепой певчей птицей, спрятанной в шляпе,
Недоступной моим пальцам и желтку яиц,
Которые я разбил, наполнив цилиндр до краев.

And now I must remind you in conclusion,
that I am followed everywhere and that
space is collapsible, although the bounty
of memory is often incomplete:
once in a dusty place in Mora county
(half town, half desert, dump mound and mesquite)
and once in West Virginia (a muddy
red road between an orchard and a veil
of tepid rain) it came, *that sudden shudder,*
a Russian *something* that I could inhale
but could not see. Some rapid words were uttered —
and then the child slept on, the door was shut.

The conjuror collects his poor belongings —
the coloured handkerchief, the magic rope,
the double-bottomed rhymes, the cage, the song.
You tell him of the passes you detected.
The mystery remains intact. The cheque
comes forward in its smiling envelope.

«How would you say “delightful talk” in Russian?»
«How would you say “good night”?»

Oh, that would be:

Bessonnitza, tvoy vzor oonyl i strashen;
lubov moya, otstoonika proste.
(Insomnia, your stare is dull and ashen,
my love, forgive me this apostasy.)

March 3, 1945

ON TRANSLATING «EUGENE ONEGIN»

1.

What is translation? On a platter
A poet's pale and glaring head,
A parrot's screech, a monkey's chatter,
And profanation of the dead.
The parasites you were so hard on
Are pardoned if I have your pardon,
O, Pushkin, for my stratagem:
I travelled down your secret stem,
And reached the root, and fed upon it;
Then, in a language newly learned,
I grew another stalk and turned
Your stanza patterned on a sonnet,
Into my honest roadside prose —
All thorn, but cousin to your rose.

А теперь, в заключение, я должен вам напомнить,
Что я всюду преследуем и что
Пространство портативно, хотя щедрость
Памяти часто неполна:
Один раз в пыльном местечке в округе Мора
(полугородок, полупустыня, мусорная свалка и комары)
и другой раз в западной Вирджинии (грязная
рыжая дорога между фруктовым садом и завесой
теплого дождя) оно пришло, это внезапное содрогание,
что-то русское, что я смог вдохнуть,
но не смог увидеть. Несколько быстрых слов прозвучало,
а потом... дитя уснуло, дверь закрылась.

Фокусник собирает свой убогий реквизит —
Цветной платок, волшебную веревочку,
Рифмы с двойным дном, клетку, песню.
Вы сообщаете ему, какие фокусы вы разгадали.
Тайна остается нетронутой. Чек
Появляется в улыбающемся конверте.

— Как будет по-русски «чудесная беседа»?
— Как будет «доброй ночи»?

— О, это будет так:

«Бессонница, твой взор уныл и страшен.
Любовь моя, отступника прости».
(Insomnia, your stare is dull and ashen,
my love, forgive me this apostasy).

НА ПЕРЕВОД «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»

1.

Что есть перевод? Это на блюде
Обескровленная и лупоглазая голова поэта,
Это хрип попугая, болтовня обезьяны
И профанация мертвых.
Паразиты, к которым вы были столь суровы,
Прощены — если вы прощаете меня,
О Пушкин, за мои ухищрения:
Я спускался по тайным стволам вашего стиха,
И добрался до корней, и кормился ими,
А потом на языке, недавно постигнутом,
Я вырастил другой стебель — и обратил
Вашу строфу, отделанную под сонет,
В свою честную придорожную прозу —
Всю в колючках, но кузину вашей розы.

Reflected words can only shiver
 Like elongated lights that twist
 In the black mirror of a river
 Between the city and the mist.
 Elusive Pushkin! Persevering,
 I still pick up Tatiana's earring,
 Still travel with your sullen rake.
 I find another man's mistake,
 I analyze alliterations
 That grace your feasts and haunt the great
 Fourth stanza of your Canto Eight.
 This is my task — a poet's patience
 And scholiastic passion blent:
 Dove-droppings on your monument.

January 8, 1955

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА, или Видение о любви и ревности

Утверждают, что Набоков и в своих англоязычных вещах был Набоковым, то есть виртуозом слова. Что ж, был так был. Пусть рукоплещут американцы. Но эти два его английских стихотворения зацепили меня заголовками: о русской ведь литературе! И когда я их одолел, шевеля губами, бровями и словарями, то испытал острый позыв (извините за термин) поделиться с другими своим ошеломлением.

И вот делюсь. (Заодно, признаться, и надвое делюсь — между его русским стихом и английским.)

Увы — «отраженные слова умеют лишь дрожать...» Даже виртуоз Набоков не рискнул переводить «Онегина» на английский стихами, перевел «честной прозой», да еще наворотил целых два тома дотошных комментариев, без усталости вдалбливая англоязычным недотепам: се лев, а не собака, джентльмены! Вдолбил ли?

Но все-таки он отвел душу. Чистой, без трещинки, онегинской строфой (четырёхстопный ямб, четырнадцать строк, точно соблюденная система рифмовки) он написал по-английски стихи «На перевод Евгения Онегина». Вот в них-то онегинская строфа явилась живая. И дело не в формальном подобии. Само ее сердцебие, ее летящая походка, ее порывистая искренность, так чудно вбегающая в иронию, такие особенные, завораживающие пируэты пушкинской мысли и речи — все сверкнуло на мгновение в коротком английском тексте.

В переводе этого не увидишь, так что прошу поверить на слово.

Хотя, опять же, не знаю, как там поверили на слово заезшему лектору любознательные американочки («Вечер русской поэзии»). Он, чудак, бормотал им о «наших колоссальных гласных», о «черных прудах звуков», о Пушкине, зевающем в повозке. Он мычал о своей незаживающей любви — а что смогли расслышать они? «Отраженные слова умеют лишь дрожать...»

Отраженные слова умеют лишь дрожать,
 Как удлинённые огни, что ломаются
 В черном зеркале реки
 Между городом и туманом.
 Неуловимый Пушкин! Упорствуя,
 Я все же подбираю сережку Татьяны,
 Я все же странствую с вашим мрачным повесой,
 Я познаю чужую ошибку
 И анализирую аллитерации,
 Что украшают ваши пиры и населяют великую
 Четвертую строфу вашей Восьмой Главы.
 Таков мой труд — терпение поэта
 И пыл буквоеда-комментатора. Эта смесь —
 Голубиный помет на ваш памятник.

Ошеломление... Но, когда вглядываюсь в эти колдовские строки чужого языка, во мне шевелится и другое чувство — болезненное, унижительное. Я не сразу понимаю, что это — ревность... Во мне, русском читателе, по-бабьи бесится уязвленная Русская Речь. Или Русская Словесность? Русская Муза? Да все равно, это одно и то же. Одна и та же дама. На ее красивом лице — пятна злого румянца, в серых славянских глазах — желтый тигриный огонь.

— Как он мог! — визжит она. — Как посмел изменить мне! И с кем? С этой тощей инглишатиной!

— Какая измена? — урезониваю я. — Стихи, конечно, на ее языке — но ведь о тебе. И как талантливо...

— Именно! И со мной талантливо, и с ней! Нечего сказать — ушлый потаскун.

— Зачем ты так? Разве он хоть на миг...

— А уж какой пылкий он бывал со мной! Лицемер! Какие... — Слезы вдруг брызжут из ее глаз, она шлепается на стул, жалко воет. — Какие у нас получались стихи-и-и... какая п-проза... Ты-то хоть помнишь, полиглот несчастный?

— Еще бы. Только не реви... Вот, пожалуйста. И опять о тебе:

Отвяжись, я тебя умоляю,
 Вечер страшен, гул жизни затих.
 Я беспомощен. Я умираю
 От слепых наплываний твоих...

Она всхлипывает, лезет в сумочку за платком.

— Это не обо мне. Это «К России».

— Он не видел разницы. Но если тебе мало, то вот еще:

А я молюсь о нашем дивьем диве —
О русской речи, плавной, как по ниве
Движенье ветра... Воскреси!

Слезы погасили тигриный огонь. Комочком платка она тычет вокруг глаз, шмыгает покрасневшим носом. Перебирает листки с моим подстрочником, потом глядит в английский текст. О, как она глядит! Слезы не то что высыхают — вымерзают от оценивающего холода этого взгляда... Вдруг, завистливо вздохнув, говорит:

— Да... Она изящнее меня. Стройнее, гибче.

(Ну, поворотики...)

— С чего ты взяла?

— Какие у нее слова... поджарые. Насколько короче моих! Ты тут переводишь: «Я слышу ржанье моих пегих существительных». Это же просто стыдоба — «сущест-стви-тель-ных». Длинно до омерзения. То ли дело у нее — «наунз». Будто короткий взмах гривой.

— Может быть. Зато возьми русское «ржанье» — какое лошадиное буйство звуков! Разве сравнишь с этим квелым английским «нэйинг»?

— Короче у нее слова, короче! — она страдальчески морщится. — Их больше влезает в строку. И смысловых оттенков у нее больше, больше напихано!

Покусывая губы, глядит в перевод. Глядится.

— Ты тоже хорош. Уж мог бы кое-где и поубористей перевести. Это же пятистопный ямб — а ты разбабал строчки по километру.

— Например? — обижаюсь я.

— Да вот хотя бы: «Среднее слово, необычайно длинное, *извивается, как змея*». У нее же тут... у него то есть, — с горькой усмешкой поправляет она себя, — сказано коротко: «серпентайн» — *змеистое*. А ты аж три слова вбухал. Нарочно меня позоришь перед ней?

— Ну уж позвооль! — я вскипаю от возмущения. — «Змеистое», может, и короче, зато ты взглядишь, дуреха, в свой собственный глагол «извивается». Как он пружинист, подвижен, вкрадчив! В нем виден даже мягкий блеск змеиной кожи. Не глагол, а целое кино. Вспомни, как он любил в тебе такие слова, туго закрученные, распираемые скрытыми токами. Он даже и тут парочку вставил живьем, без перевода — вот они, курсивом: «...неуклюже, невыносимо...»

Я вижу на ее лице невольную смущенную улыбку и, обрадованный, спешу закрепить на отвоеванном плацдарме.

— И потом, я старался передать не размер, а смысл. Это же всего лишь подстрочник.

— Подсрачник! — фыркает она.

Я не обижаюсь.

— Ишь, какие ты словечки выдаешь походя! Уж не приbedнялась бы насчет смысловых оттенков.

— Да пошел ты!.. — она улыбается, встряхивает пышными волосами. Воодушевленный, я встаю со стула.

— Ты вспомни, как он говорил: все земное, ядреное, мужицкое, все связанное с жизнью природы, а также с чувствами, ощущениями, по-русски выходит лучше, чем по-английски.

Она не просто слушает — она пьет эти слова. Пристально и странно глядит на меня. Я делаю к ней шаг, шепчу:

— Ну и что, что слов у нее в строке много? Костей

много! Уж точно — инглиштина... А у тебя вон сколько всего...

— Но, но — без рук! — сухо роняет она.

— Прошу прощения! — опомнившись, я неловко крякаю, усаживаюсь на место.

Мы молчим. Она достает из сумочки косметику, зеркальце. Подкрашивается, медленно расчесывает волосы. Меня будто нет.

Но я тут. И шило у меня — ясно где. Я нарушаю молчание:

— Вы с ней просто разные. Ты насмешлива, она остроумна... Ты добра, она тактична — и я, убей, не знаю, что ценнее... Ты задушевна, она рассудительна. Ее сэндвичи примитивны по сравнению с твоим борщом, но зато она едет на пикник. Ты берешь надрывом, а она напором. Ты веришь в сглаз, а она в хэппи-энд. Ты вопленица — даже когда рядом нет покойника, она миссионерша — даже когда вокруг одни крокодилы... Хотя вот тут-то вы обе теряете чувство меры и бываете надоедливы. Но он знал, где ставить точку.

— Да уж знал. Остановился на сэндвичах.

— Не кривляйся. Он много твоего перенес в нее.

— Да-а? — она округляет губы перед зеркальцем, проверяя, как наложена помада. — И что именно?

Тон мне не нравится — и я не спешу с ответом. Я тоже знаю, черт возьми, где ставить точку. Для паузы. Она ждет, потом ерзает и, наконец, поворачивается ко мне:

— Ну так что из моего он в нее перенес?

Ага — уже не пренебрежение! Острое любопытство. Мольба. Теперь услышит.

Я вдруг понимаю, что волнуясь. Голос мой дрожит:

— Твое умение чувствовать боль. И твое неумение врать.

Ну вот... Сказал.

Она смотрит на меня — а потом как бы сквозь меня. Так смотрят, когда ждали услышать нечто, а услышали лепет зубрилки, бородатый анекдот. Но почему?..

Вздохнув, она застегивает сумочку, поднимается.

— Ладно, аналитик. Мне пора.

Идет к двери. В отчаянии я бросаю ей вслед:

— А я бы никогда тебе не изменил!

Она оборачивается, насмешливо поднимает брови:

— Бодливой корове Бог рог не дает!

Я смотрю в пол. Стерва...

— Не обижайся, — слышу тихий голос. Поднимаю голову. Ее улыбка печальна.

— Заглянешь как-нибудь? — спрашиваю с шевельнувшейся надеждой.

Она пожимает плечом. Распахивает дверь — и нет ее. Порыв сквозняка сметает со стола на пол мои бумажные листки...

Крадутся сумерки. Как там сказано у него где-то: «Сумерки» — какой томный, сиреневый звук! Томный, сиреневый... Эх, звуки, сколько в вас всего соседствует... «Томно мне!» — стонет в синеве веков негнувшийся протопоп. А из другого угла: «Сиреневый туман-ан... над нами пра-плыва-ит...» Но — стоп машина. Надо собрать листки.

И я собираю с полу машинописные листки, на которых отстукано нечто до горечи бестолковое по самой своей сути, и жалкое, как промах, и неотвязное, как наваждение, — перевод стихов русского поэта на русский язык.